

Elena RAZUMOVSKAYA
Remembering the War

The publication presents the fragments of the war-time memoirs and diary notes made by the Razumovskys family: Elena Razumovskaya (née Bogomiagkova), Leningrad Conservatory graduate, researcher of music folklore, her husband, Lev Razumovsky, writer and sculptor, war-disabled person, and her sisters-in-law, Mirra and Lydia Razumovskys.

Key words: the Great Patriotic War, memoirs, diaries, Elena Razumovskaya, Lev Razumovsky, Lydia Razumovskaya, Mirra Razumovskaya.

Елена РАЗУМОВСКАЯ
Вспоминая войну

В публикации представлены фрагменты военных мемуаров и дневниковых записей семьи Разумовских: музыковеда-фольклориста, выпускницы Ленинградской консерватории Елены Николаевны Разумовской (в девичестве — Богомягковой), ее супруга — скульптора, писателя, инвалида Великой Отечественной войны, Льва Самсоновича Разумовского, и двух золовок — Мирры Самсоновны и Лидии Самсоновны Разумовских.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, мемуары, дневники, Е.Н. Разумовская, Л.С. Разумовский, Л.С. Разумовская, М.С. Разумовская.

В год Великой Победы мне захотелось поделиться своими детскими, очень эмоциональными, но навсегда врезавшимися в душу воспоминаниями о войне, которые определили многое в моей дальнейшей личной и профессиональной жизни. Текст воспоминаний «Осколки военного детства» был, в основном, написан специально для данной публикации.

Вся тяжесть жизни в годы Великой Отечественной войны в полной мере легла, разумеется, на плечи взрослого поколения. В архиве семьи Разумовских сохранились дневниковые записи, документально зафиксировавшие события тех страшных лет.

Лев Самсонович Разумовский (1926–2006) — коренной ленинградец. После первой блокадной зимы вместе с детским домом, где работали его мама и сестра, в августе 1942 года был эвакуирован в Костромскую область. В ноябре 1943 года — призван в армию, с 21 июня 1944 года — на фронте; после тяжелого ранения потерял руку. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (1953), член Союза художников (с 1955). Работал в разных жанрах: садовая скульптура, портрет, мелкая пластика (керамика, медаль, детская игрушка), живопись, акварель, рисунок. Автор повестей о войне и блокаде, рассказов. В журнале «Нева» в разные годы были опубликованы фрагменты его военных мемуаров «Нас время учило» (1995, № 11–12) и документальной повести «Дети блокады» (1999, № 1). Л. С. Разумовский принимал участие в работе над двухтомником воспоминаний фронтовиков «Книга живых»¹. Недавно в журнале «Звезда» было напечатано продолжение повести «Дети блокады» (2014, № 12). Издательство «Звезда» предполагает выпустить книгу военных мемуаров Разумовского, куда войдут его рассказы о войне, повести и письма военного времени.

Мирра Самсоновна Разумовская (1917–1983) — известный в послевоенном Ленинграде школьный учитель-методист русского языка и литературы. Вела дневник, начиная с блокады. В публикации представлены два фрагмента из ее заметок, отражающие впечатления от костромского диалекта и праздничной культуры русской деревни. Л. С. Разумовский в повести «Дети блокады» использовал выдержки из дневника сестры.

Лидия Самсоновна Разумовская (1921–2008) — учитель русского языка и литературы. Когда началась война, она была студенткой филфака ЛГУ. Всю войну работала медсестрой в военном госпитале. После войны окончила университет и аспирантуру. В 2007 году написала серию рассказов-воспоминаний о войне, основываясь на своих дневниковых заметках того времени.

¹ Книга живых: Воспоминания евреев-фронтовиков, узников гетто и концлагерей, бойцов партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда. Т. 1 / ред.-сост. Л. А. Айзенштат, А. С. Журавин, А. К. Магарик и др. СПб.: Акрополь, 1995. 415 с.; Т. 2 / ред.-сост. И. И. Бабурина, П. З. Горелик, Л. С. Разумовский и др. СПб.: Нева, 2004. 448 с.

Подготавливая фрагменты из семейного архива к изданию, я расположила их в хронологическом порядке и снабдила необходимыми комментариями. Мне как фольклористке показалось особенно интересным восприятие традиционной жизни русских крестьян глазами людей, впервые наблюдающих ее изнутри.

Елена РАЗУМОВСКАЯ

Осколки военного детства

Мы с мамой уехали из Ленинграда последним эшелонном. По дороге на Урал пережили несколько бомбежек. Смутно помню, как поезд остановился буквально в чистом поле, люди в панике выскакивали из теплушек и тут же припадали к земле. Укрыться было негде, а наверху завывали самолеты и где-то рядом оглушительно рвались снаряды. Мама естественно прикрыла меня собою.

В Уфе, где мы сначала оказались в эвакуации, я ходила в детский сад и была там «первой артисткой» на всех праздниках: читала стихи и пела песенки, стоя на стуле. Помню, как разучивала вместе с музыкальной воспитательницей только что принесенную ею новинку — песню Соловьева-Седого «Спойте, друзья». На словах припева «Прощай, любимый город» женщина разрыдалась, и медсестра приводила ее в чувство валерьянкой. Когда дома я начала петь новую песню маме, она тоже расплакалась.

Из ярких, глубоко запавших в душу музыкальных впечатлений нашей уфимской жизни — жалостливое пение под окном двух малышей, закончившееся просьбой дать хлебушка. Мама велела мне вынести им два кусочка (хоть мы сами жили впроголодь).

Потом мы переехали в Челябинск. Там я пошла в школу и тоже солировала в школьном хоре. Из школьных песен запомнились две: «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и новый Гимн Советского Союза, который мы тщательно разучивали каждый день после уроков.

На большой перемене дежурные приносили из школьного буфета два подноса: один — с гранеными стаканами, наполовину залитыми кипяченым молоком, другой — с маленькими круглыми булочками, посыпанными сахарным песком. Мы радостно набрасывались на еду. А на 8 марта мы ссыпали песок с булочек сначала на поднос, потом в бумажный кулек и преподнесли наш подарок учительнице, чем довели ее до слез. А еще мы спели учительнице модную тогда песню «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». (Мама три раза ходила со мной смотреть этот фильм, поскольку там на заднем плане мелькали виды Ленинграда.)

Советские праздники 7 ноября и 1 мая в челябинской школе отмечались утренним обходом директора и завуча всех классов с раздачей подарков. К доске вызывались ребята, у кого отцы погибли на фронте или пропали без вести. Выходило приблизительно три четверти класса. Детей благодарили за отцов, совершивших подвиг во имя спасения Родины, и награждали каждого либо карандашом, либо деревянной ручкой с 86-м пе-

ром, либо стирающей карандаш резинкой (стёркой)... В ответ весь класс вставал и пел первый куплет гимна с припевом «Славься, Отечество наше свободное!». Таков был церемониал. Лишь однажды содержание ритуальных подарков было сказочным образом нарушено, и каждый, стоящий у доски, получил по двухметровому отрезку чудесной не мнущейся (!) американской материи. Мне досталась салатного цвета ткань с чуть заметной вертикальной полоской. Я передарила отрез маме, и та сшила себе нарядное платье в обтяжку, в котором щеголяла еще несколько послевоенных лет, пока не вернулась к своим нормальным объемам.

Помню, как 9 мая 1945-го года мы бежали вприпрыжку на центральную площадь. Там люди плакали, обнимались, целовались, пели, держась за руки и покачиваясь в такт песни. Пели «Катюшу», «Землянку», «Тачанку», «И кто его знает», «Синенький скромный платочек», «На позицию девушка провожала бойца», «Я уходил тогда в поход в далекие края», «Тучи над городом встали», «Спят курганы темные», «Эх, дороги!» и др. Их все знали и любили. (Всю войну новые советские песни постоянно транслировали по радио, которое никогда не отключалось ни дома, ни на улице, поскольку все жадно вслушивались в последние сводки Совинформбюро.) А потом появился гармонист, и начались вальсы и веселые пляски под частушки. Закончился День Победы салютом и фейерверком. Гулянье продолжалось до утра.

В Ленинград вернулись в сентябре. Город лежал еще в руинах. На улицах было много инвалидов. Среди них часто попадались так называемые *колясочники* — безногие мужчины в военных гимнастерках, привязанные к дощатому ящику на колесиках. Они передвигались, отталкиваясь от земли деревянными держалками для рук, по форме похожими на прямоугольный уют. Колясочники обыкновенно заезжали во дворы-колодцы (там было потише, и акустика неплохая), пели популярные песни военных лет, с разных этажей им бросали монетки, а мы, детишки, играющие во дворе, бегали за монетками и вручали их поющим. Изредка во двор забредал одиночный музыкант — скрипач, гармонист, балалаечник. (Ансамблей не запомнила.) На улицах стояли или сидели прислоненные к стенкам домов слепые с черной повязкой на лице. Они тоже были в гимнастерках, тоже пели или музицировали, привлекая внимание прохожих, собирая милостыню в жестяную консервную баночку. Потом вдруг все инвалиды — слепые, безрукие, безногие, на костылях и колясках — разом исчезли из города. Повидимому, по специальному постановлению их вывезли в сельские Дома для инвалидов. Один из таких Домов скорби (по-другому не назовешь) я через много лет за-

стала еще в кельях бывшего Валаамского монастыря. Да и в убогих деревенских Домах для престарелых еще в 1970–1980-е годы, на заре моего профессионального вхождения в Фольклор, можно было встретить одного-двух из этих чудом доживших до глубокой старости «обломков войны», давно забытых государством-Молохом. На алтарь этого Молоха они принесли когда-то свои жизни...

В первые послевоенные годы было по-прежнему очень голодно. Все продукты «отоваривали» по карточкам. Тот или другой продукт «выбрасывался» вдруг на прилавок в ограниченном количестве, и важно было одним из первых очутиться в магазине, к которому ты прикреплен, чтобы успеть отовариться. В мои обязанности входила добыча хлеба. Я училась во вторую смену, но вставала с утра пораньше, чтобы занять очередь в булочную еще до ее открытия — а вдруг сегодня привезут хлеб?

Младшеклассники старались не пропускать школу: на большой перемене они получали бесплатный обед (постный суп, каша, сладкий чай). Это называлось Усиленное Детское Питание. Аббревиатура в просторечье расшифровывалась как *Умрешь Днем Позже*.

По большим советским праздникам можно было купить серую муку без карточек. Продавали по 1 кг в руки, поэтому в многочасовой очереди стояла вся семья, включая грудничков. Отойти в сторону было опасно — могли и не впустить назад. Тут и там вспыхивали ссоры. Однажды маме пришлось весь день продержаться в такой праздничной очереди с высоченной температурой.

Одно из самых ярких и, как потом оказалось, судьбоносных впечатлений моего послевоенного детства, — первое в жизни знакомство с русской глубинкой. Это случилось летом 1948 года в деревне Заборье, на границе Ленинградской и Вологодской областей, где тогда работал плановиком лесного хозяйства мой отец. Мы с мамой приехали к нему в летние школьные каникулы. Жили в крестьянской избе, естественно, без бытовых удобств, при керосинке и *коптилке* (упрощенный вариант керосиновой лампы без стекла), и каждый вечер наслаждались общением с папой (он был мастером устного рассказа).

Я с удовольствием окунулась в деревенскую экзотику. Ходила с местными ребятами за грибами и ягодами. Плавала в реке Лидь (именно здесь я научилась по-настоящему плавать). Играла в *лапту*, *прятки*, *пятнашки*, *казаков-разбойников*; в *штандер* («стоять!»; по-немецки) — игра с мячом по-видимому военного происхождения, а быть может и дореволюционная, господская. Были и сугубо *девчонские* игры, в которые иногда принимались мелкие мальчишки: *веревочка* (*скакалка*, по-городскому), *классы* (прыжки по нарисованным на земле квадратам) и арифметическая игра с мячом *на счет*, в которой при перебрасывании мяча через ногу об землю или через спину о стенку нужно было быстро, четко, без запинки перечислять разные имена от одного

до десяти, не теряя при этом мяча. Например: «Я знаю пять имен мальчиков: Петька — раз! Юрка — два! и т.д.». Перечислялись также названия цветов, деревьев, ягод, овощей, городов и т.п.

Ужасающая бедность деревни особенно бросалась в глаза при взгляде на детей: они носили тряпье, взрослые обноски. Мне как-то указали на пробегающую мимо девочку лет 8-ми, которая никогда не выходила в погожие дни на улицу поиграть со сверстниками. У нее было только одно платье — школьная форма (бесплатно полученная от колхоза, поскольку мать была многодетная вдова-солдатка). В будни девочка ходила в форме круглосуточно, после школы выворачивая ее дома наизнанку. Раз в неделю, в выходные, мать стирала и сушила платье, а дочь круглосуточно сидела на печи голая, за-вернувшись в какие-нибудь лохмотья.

Смутно помню, как по приглашению подружки Лизы с соседней улицы ходила *глядеть свадьбу* (много позже узнала, что это ритуальный термин). Лиза по такому поводу надела чистое платье и туфли, доставшиеся ей в наследство от старших сестер. (Все лето она бегала по деревне босиком, а в лес надевала взрослые сапоги, обмотав ноги портянками.) Помню громкое пение, танцы под гармонь, частушки под балалайку, торжественное хождение гостей из одной избы в другую и большое количество пьяных, которые к вечеру уже валялись на улице по всей деревне. Вернувшись домой, Лиза сразу же сняла туфли, тщательно обтерла их влажной тряпкой, включая подошвы, завернула в чистое полотенце и спрятала в шкаф.

В теплые летние ночи под единственным на железнодорожной станции Заборье фонарем собиралась всегда голодная, но подвыпившая заборская молодежь, плясала под гармонь с балалайками и горланила частушки. Деревня в это время давно спала, утопая в ночной черноте и тишине, и было отчетливо слышно каждое слово. Тексты потрясали мое пионерское сознание своей антисоветчиной и неформальной лексикой. Они запомнились сходу:

♩ = 102

А всю пше - ни - цу за гра - ни - цу,
проирыш

а всю ка - рто - шку на ви - но.

♩ = 144

А го - ло - дны - е ко - ло - зни - чки, по - жа - лте на ки - но!

*А всю пшеницу за границу.
А всю картошку на вино.
А голодные колхознички, пожалте на кино!*

*А говорят, в колхозе худо.
А в колхозе хорошо:
До обеда ищут лошадь, а с обеда колесо!*

Вспоминая войну

А председатель на машине.

А бригадир на лошади.

А колхозница с мешком захуярила пешком!

Нашу хозяйку, у которой папа снимал комнату, звали Марья Васильевна. Это была высокая, прямая, очень худая светлоглазая узколицая старуха со следами былой красоты. Она не знала, сколько ей точно лет (колхозники, как известно, жили без паспортов), но утверждала, что помнит пригón (крепостное право), и барина, у которого родители были в крепостных, и «как батьку секли на конюшне». Невестка Вера, жена младшего внука, убитого на войне, считала, что бабе уже за 90. Вера, в отличие от М.В., скуластая, ширококостная, приземистая, крепко сбитая молодуха, была звеньевой в колхозе и с утра до ночи пропадала в поле. Сыновья ее, 14-летний Федька и 8-летний Витька, фактически росли без всякого призора (дряхлую прабабку они, разумеется, ни в грош не ставили) и совсем отбились от рук. Вечно голодные, они подкармливались воровством. Почти ежедневно, на ночь глядя, в избу приходили соседи с жалобами, в основном, на Федьку. (Нерасторопный, глуповатый, трусливый, вечно сопливый Витька годился разве только на то, чтобы стоять *на стрёме*.) Мать в отчаянии хваталась за палку, Федька ловко уворачивался, выскакивал на улицу, и палка обычно доставалась Витьке. Витька дико визжал, потом переходил на отчаянный рев с выкриками о своей невинности, потом долго сопел и сморкался, пока, наконец, не утихал, свернувшись калачиком на лавке. И тогда в наступившей ночной тишине с печки отчетливо проступало чуть слышное, почти до рассвета продолжавшееся жалобное поскуливание вдовы.

Однажды мы стали свидетелями жестокой расправы над Федькой, когда палка заслуженно гуляла по нему, и он, выгнанный из дому, уполз на сеновал и несколько дней там отлеживался. В тот день он вытащил из-за прабабкиной иконы завернутые в тряпочку «квартирные», которыми папа ежемесячно, после получки, рассчитывался с Марьей Васильевной за комнату. Но вор был пойман с поличным.

Конечно, тюрьма уже давно и заранее плакала по Федьке, и, думаю, туда его взрослая жизнь и привела. Для меня это было первое в жизни непосредственное знакомство с уголовным типом да еще такое тесное, ведь мы жили под одной крышей и каждый день общались! До этого я знала о параллельном существовании преступного мира понаслышке и, в основном, из литературы («Отверженные» В. Гюго, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского и т.п.). Тем более Федька вызывал у меня жгучее любопытство! Он был смышлен, хитер, ловок в движениях, рукаст, языкаст, знал жизнь не по книгам, кормил меня всякими, как мне тогда казалось, вымышленными историями (задним числом я понимаю, что это была жестокая реальность или грубый натурализм). Презирал школу: «Чего я там не видел? Там всё врут!». Хвастался, что «тикал из школы в окно», когда под

конвоем *лягáвого* (милиционера) его насильно приводили в класс (ведь после войны в стране было объявлено обязательное среднее образование). Но, наделенный природным воображением, Федька очень любил читать: хвалился, что проглотил уже всю школьную библиотеку и теперь брал книги у меня. А я в то лето как раз читала Достоевского: «Преступление и наказание», «Униженных и оскорбленных», «Бедных людей», «Идиота».

Еще одна трагическая картинка той заборской жизни, навсегда врезавшаяся в память, — как мы с мамой «отвариваем хлеб» в привокзальном магазине. Хлеб привозили два раза в неделю и продавали только рабочим леспромхоза — по полбуханки на человека. Колхозникам хлеба не полагалось. И вот выходим мы с мамой из магазина, держа в руках законные наши полторы буханки (полбуханки мы всегда отдавали хозяевам), и идем сквозь строй крестьянских женщин и детей, провожающих нас голодным злым или жалким взглядом. До сих пор помню переживаемые нами тогда чувства стыда и вины перед нашими хлебобродами за свое бессилие изменить эту вопиющую несправедливость.

Пожалуй, самое яркое воспоминание из далекой заборской жизни — пение Марьи Васильевны. В редкие вечера, когда Вера еще не вернулась с поля, а мальчишки где-то бегали, и мы оставались одни с М.В., папа просил ее попеть что-нибудь из *старопрежнего* (ее слово). М.В. говорила тихо, нараспев, со старинным северным «оканьем» и «ёканьем», с вплетением в кружево речи пословиц и поговорок — одним словом, заслушаешься. А уж как она пела!.. Жаль, что тогда не было еще в русском быту магнитофонов.

Теперь я понимаю, что в ее репертуар входили ставшие уже к середине XX века драгоценной редкостью старинные лирические песни, названные крестьянскими певцами *протяжными*: медленные, многокуплетные, широкого диапазона, со слоговыми распевами, свободной метrorитмикой, несимметричной фразовой структурой. Вопреки почтенному возрасту негромкий голос М.В. сохранил природную чистоту и выразительность звучания, хотя и утратил уже былую силу и свободу вокального дыхания. В уверенной и точной фразировке угадывалось певческое мастерство: «Раньше-от не так выводила, а нынче-от ретивоё подводит — не вытянуть». Но все равно это было замечательно, и «хватало слушателя за сердце, прямо за его русские струны» (см. рассказ Тургенева «Певцы»).

Из песен Марьи Васильевны лучше других запомнилась «Ноченька» — наверное, потому и запомнилась, что в последующие годы мы с папой любили ее попеть вдвоем. А когда я через много лет ревниво слушала отреставрированную граммофонную запись «Ноченьки» в исполнении Шаляпина (сделанную в начале XX столетия), то, отметив несходные детали, поняла, что свой родной заборский вариант мне нравится больше. (Чисто фольклорная ситуация — свое всегда кажется лучше, потому что ближе к сердцу!)

Привожу эту песню Марьи Васильевны так, как запомнила ее с лета 1948 года:

Ах, ты но - чень - чка да но - чка тём - ная
но - чка тём - ная, ах, ночь о - сё - нья - я.

*Ах, ты ноченька да ночь тёмная,
Ночь тёмная, ах, ночь осённая!*

*Что ж ты ноченька, да призаёмнилась?
Красна девица, ох, призадумалась?*

*С кем я ноченьку да проводить буду,
С кем осённую коротать стану?*

*Нет ни батюшки, да нет ни матушки,
Только ёсь один мил сердешный друг.*

*Только ёсь один да мил сердешный друг,
Да и тот со мной не в любви живёт.*

*Да и тот со мной да не в любви живёт,
Не в любви живёт, не в согласи.*

Лидия РАЗУМОВСКАЯ

Из рассказов о госпитале

Обдумывая пережитое, я часто задаю себе вопрос: может ли человек три года жить без света, тепла, почти без воды и пищи, и не просто жить, а работать круглосуточно почти без отдыха? Оказывается, может. Мы смогли.

Я учитель. Я постоянно рассказываю своим ученикам о прошлом, о том, как вошла в нашу жизнь война, как оборвалась юность и началась очень трудная взрослая жизнь.

На окопах

Утром с мешками за плечами мы стоим на набережной перед зданием Университета. Короткая команда «по машинам!», и мы залезаем в кузов грузовика. Нас везут в Красное Село. Нам весело — молодость берет свое. Мы поем довоенные песни: «Если завтра война», «Любимый город», «Песню о встречном». Через два часа мы строимся в колонну вдоль огромного поля. Сколько нас? Трудно сосчитать, наверное, человек 500. Все девушки — парни

ушли добровольцами в армию (с нашего курса ни один не вернулся). [...] Мы будем копать противотанковые рвы.

И вот мы работаем день и ночь, день и ночь по-сменно. Спим в сарае на сеновале. Утром просыпаюсь — по крыше стучит град, и жужжание какое-то невыносимое. Высунула голову и быстро отпрянула назад: оказывается, на бреющем полете носятся над нашими рвами и сараями немецкие самолеты и из пулеметов обстреливают нас. [...] А потом мы стоим, опустив головы, над телами наших погибших девчонок... Это был первый урок «науки ненависти», первое крушение детского представления о войне.

Курсы

Мы учимся на ускоренных курсах медсестер. Так непривычно и странно нам, филологам, учить анатомию и глазные болезни, слушать лекции об огнестрельных ранениях и защите от удушающих газов... Мы занимаемся по 10 часов в сутки: за полтора месяца нужно изучить программу целого года.

Очень мучает голод, а ведь еще только конец сентября. Дома у нас хоть шаром покати. Мы не делали запасов, и когда предусмотрительные знакомые сушили сухари, мама, негодуя, говорила: «Возмутительно! Эти люди создают панику. Никогда город Ленина не оставят без хлеба, никогда!» А теперь нам все чаще снится хлеб, и все чаще начинает звучать непривычное слово *блокада*.

Госпиталь № 1448 (70) ЛВО Садовая, 26 (Воронцовский дворец, б. Пажеский корпус)²

Раз в три дня ко мне приходит сестра. Она единственная из семьи может кое-как дойти до моего госпиталя. Я коплю хлеб, кашу, гущу супа, сахарный песок. Оказывается, можно жить, выпивая два раза в день несладкий горячий чай и жидкость из супа (редкие крупинки я вылавливаю и складываю в банку). Так поступают многие сестры. [...]

Мне дали увольнительную на три часа. Мы с сестрой бежим по Садовой, по Международному³, бежим, насколько позволяют нам силы и мои сапоги 43 размера. «Скорей, скорей!». В портфеле накопленный за три дня хлеб, в банке — каша, а в коробочке — драгоценные 150 г масла. Это нам вчера выдали месячную норму жиров [...]. Вбегаем домой. На постели брат, отекающий, неузнаваемый... Дрожащими руками вливаю ложечкой нагретое масло в сомкнувшийся рот. Потом нарезаю крохотными кусочками хлеб и грею его на буржуйке... Потом кормлю оживающего на глазах брата теплой кашей. «Успели, успели!». А могли не успеть.

² Л. Разумовская прослужила здесь всю войну. В конце 1944 г. госпиталь отправили на Второй Белорусский фронт. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. сотрудники госпиталя отмечали в Польше окончание войны.

³ В настоящее время — Московский пр.— Прим. ред.



Лидия Разумовская. 1943 г.

Дома

Уже очень давно не была я дома и давно не видела никого, кроме сестры. И ей все труднее добираться до госпиталя. А мама, папа и брат дойти не в силах. Что-то и мне становится трудновато. Привычный путь кажется бесконечным... И вот наконец наша дверь. Бросаюсь к маме на шею...

— А где же папа и Лева? Так поздно, темно, а их еще нет!

— Папу положили в стационар. Это вроде больницы. Там тепло и чисто. Попасть туда очень трудно — работа помогла. [...]

— А брата не брали в стационар, — включаетесь в разговор сестра, — говорят, мест нет, так я его закутала в одеяло, посадила на саночки, привязала крепко, чтоб не упал, и у входа в стационар оставила.

— КАК ОСТАВИЛА? ГДЕ? НА УЛИЦЕ?

— Что ты кричишь? Да, оставила на улице, у самой двери, а сама легла на снег за сугроб: замучилась, пока везла. Он все спрашивал? «Ты меня умирать везешь?» — Сестра останавливается, делает какое-то судорожное движение, как будто у нее ком в горле.

— Лежу в снегу и жду: если через час не возьмут, дамой увезу. Часу не прошло, какая-то сестра вышла. Сразу веревки развязала и на руках унесла. А я еще полежала немножко, потом санки взяла и домой.

Мы молчим. Да и что тут скажешь!

— А теперь они с папой даже в одной палате лежат. Разобрались, что сын, и вместе положили.

— Им там хорошо, ты не волнуйся, — говорит мама.

— Да, я их часто навещаю, и знаешь, — на глазах сестры появляются слезы, — Лева оттуда маме всегда кулек сахарного песку посылает, от себя отрывает. [...]

С трудом пережив самую страшную первую блокадную зиму, мама, сестра и брат уехали с детским домом, в котором работала сестра, в костромскую деревню. К 1 мая 1943 года всем сотрудникам нашего госпиталя выдали по банке сгущенки весом в 1 кг (из американских подарков) как месячную норму сахара и жиров. После того, как папа получил разрешение на посылку, моя банка отправилась в далекую деревню.

Лев РАЗУМОВСКИЙ

«Дети блокады»⁴

Зимой 42/43 годов перед детдомом встала серьезная проблема: для того чтобы протопить церковь⁵ [куда поселили ленинградцев. — Е. Р.] и принадлежащие детдому два отрядных дома (столовую, баню и медицинский изолятор), нужно было огромное количество дров.

Дрова — длинные и толстые двух-трех-метровые бревна — доставлял нам сельсовет. Огромная груда их темнела на снежной площадке рядом со столовой. Потом появились пильщики — местные колхозницы. Они смастерили козлы, на которые вчетвером взгромождали бревно, потом распиливали его на отдельные кряжи, потом кололи.

Работали эти женщины по восемь часов в день, до позднего вечера, и, закончив, получали из рук нашего завхоза Кронида Васильевича по буханке хлеба.

Среди крестьян были просто виртуозы колки дров. Однажды мне случайно довелось увидеть, как колот дрова один мужик. Он ставил кряж, потом двумя сильными и точными ударами колуна половинил его, при этом кряж оставался на месте с трещиной посередине. После этого мужик делил половины на *четвертухи*, а затем четвертухи на поленья. Кряж, разбитый, как апельсин, на отдельные дольки, продолжал стоять, и тогда, кряк-

⁴ Из книги коллективных воспоминаний сотрудников и воспитанников Детского дома № 55/61, собранных, записанных и отредактированных Л. С. Разумовским.

⁵ Двухэтажная каменная церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году. В этой церкви венчался декабрист М. А. Фонвизин, племянник писателя Д. И. Фонвизина. (Одно из имений Фонвизиных находилось в соседнем Кологривском уезде.) Детский дом размещался на первом этаже. В 2005 году у входа в храм повесили памятную доску: «В годы Великой Отечественной войны здесь располагался Детский дом № 55 для детей, эвакуированных из Ленинграда».

нув, он сильным ударом обуха по боку, разваливал березовый кряж на груди золотистых поленьев.

* * *

Мы с мамой и Миррой⁶ поселились в одном из домов недалеко от церкви. Наша хозяйка, Анна Флегонтовна Шаброва, высокая крепкая крестьянка лет пятидесяти, жила со своими детьми: худенькой белобрысой Лизкой, четырнадцатилетним Колькой, десятилетней рыжей Галькой и четырехлетним крепышом Толькой. Анна Флегонтовна вставала до петухов, доила корову, кормила ее, растапливала печь, готовила еду на всю семью. Девчонки приносили воду из колодца, сливали ее в чистую бочку в сенях, мыли полы в избе и часто садились за прялки.

Я впервые в жизни увидел, как прядут, как делается нитка первобытным способом. Пряха ставила прялку на лавку, садилась на *стúпицу* и начинала тереть пальцами *пук кудéли*, привязанный к верху прялки. Нить из-под ее руки тянулась к веретену, которое она одновременно ловко вращала одной рукой. Скрученная нить наматывалась на веретено, пока не кончалась куделя.

Колька выполнял мужицкую работу: точил пилы, делал топорища, пилил и колол вместе с матерью дрова.

При доме был огород, позади дома большой участок был засажен картошкой, которая составляла главную основу питания семьи целый год. Хлеб нигде не продавался. Крестьяне сами пекли его, добавляя жмых, потому что, как они нам сами рассказали, колхоз расплатился с ними из нормы четыреста граммов зерна на трудовой день, «а сколько на этот год придется, то и того хуже...». Про нашу хозяйку в деревне говорили: *Флегонтовна хорошо живет — у нее корова есть, дом справный, чего ей не жить?*

Коров в деревне было немного, а понятие «хорошо живет» было синонимом понятия «хорошо ест». И тот, кто ел в деревне досыта, — значит, и жил хорошо.

А дом был действительно крепкий, с добротным высоким крыльцом, с наличниками на окнах, с двумя комнатами и просторной кухней. Половину кухни занимала большая белёная русская печь с лежанкой, с широкой и глубокой топкой, закрывающейся железной заслонкой, и с маленькими квадратными отверстиями — *печúрками*, в которых всегда сушились портянки, шерстяные носки или рукавицы.

Флегонтовна рассказывала, что, пока не было бани, мылись в самой печи, сидя согнувшись в три погребели на рогожке на теплом поду. Моющему подавали туда кадушки с водой для мытья и ополаскивания. Особое искусство для вымывшегося и распаренного состояло

в том, чтобы вылезти из печи, не задев спиной, головой и плечами, густо покрытых сажей стенок и потолка топки.

Я впервые увидел, как ловко наша хозяйка орудует у печи ухватами на длинной ручке (*хвáтушки*, по-угорски), вытаскивая черные чугуны из самых дальних углов печи при помощи круглого деревянного валика. Вытащенный чугун с горячими щами ставился на середину деревянного, выскобленного ножиком стола, во круг которого усаживалась на лавках вся семья.

Впервые я увидел и сковородник на длинной ручке, которым захватывались огромные сковороды с жареной залитой яйцами картошкой. Это блюдо красивого золотистого цвета называлось почему-то *яблошник*⁷. К обеду сама Флегонтовна брала краюху хлеба и аккуратно, даже благоговейно, отрезала каждому по толстому ломтю, прижав хлеб к груди. Остальное тут же заворачивалось в чистое полотенце и куда-то пряталось до ужина. Хлеб, мука были драгоценностью. Забегая вперед, скажу, что в следующем, сорок третьем году (третий год войны) обнищавший колхоз вообще ничем не расплатился с колхозниками, и тогда-то я и услышал крамольную частушку:

*Трактор пашет глубоко,
а земля сохнет.
Скоро ленинский колхоз
с голоду подойдет!*

Из дневника Мирры Разумовской

Местный диалект. Это очень интересно:

он лицом на меня не похож — у него маска не та
навоз — *назём*
похлебка — *делегатка* или *пятилетка*
в прошлом году — *в трéтьем гóде*
когда — *коlí*
тогда — *тоlí*
даже — *наlí*
если так — *бúдя так*
курильщик — *табаку́р*
перемогает — *перебáрывает*
крыльцо — *мост*
плачет — *хíнькает* (от хныкать?)

Чем дальше, тем любопытнее вникать в угорский диалект:

сбúтень — место, где собираются парни и девушки для гулянки

⁶ Сестра — Мирра Самсоновна Разумовская.

⁷ До войны мантуровцы называли картофелины по-старинному — яблоками. «Новое» название окончательно прижилось после приезда ленинградцев. Информация получена от учителя Угорской школы Н.Н. Серовой в 2006 году, когда я впервые поехала в Мантуровский район в фольклорную экспедицию; она же проконсультировала меня в расстановке ударений. — Е.Р.

Вспоминая войну

барабá — темная комната, в которой уединяются пары
во время *беседок* — традиционных зимних вечери-
нок с прялками, песнями, частушками и *плясом*;
галушливая — веселая, радостная
оландáсь — недавно
лишо — сейчас
погóвчим намéдни — поговорим после
нагáнник — брючный ремень⁸
она напéтлит вам — она наговорит лишнего

Когда угорцам говоришь «Спасибо», они отвечают —
Нé на чéм!

Все на удивление выразительно и увлекательно для
меня как филолога.

Лев РАЗУМОВСКИЙ

Весна 1943 года. Впервые в жизни (как много мы, жите-
ли большого города, увидели впервые, попав в обыч-
ную российскую деревню, живущую натуральным
хозяйством) мы залюбовались красивейшим зрели-
щем — светло-зеленым полем, покрытым ковром мел-
ких голубых цветков. Порывы ветра колыхали всю эту
голубизну, и создавалось ощущение, что это большое
светлое озеро с зыбью на его поверхности. Так цвел лен.
К осени нежно-зеленые стебли стали бурными, а голубые
цветы превратились в крепкие коричневые звонкие ша-
рики — плоды льна.

Вот тут-то мы впервые на собственном опыте
столкнулись с понятием и истинной ценой «трудодня».
Детдому предложили помочь колхозу убрать лен. Нам
выделили часть поля, две крестьянки подвели нас к ше-
лестящему на ветру золотистому звонкому полю и спро-
сили, умеем ли мы тереть лен.

— А чего тут уметь, — ответил кто-то. — Рви да соби-
рай в пучки.

Колхозница тетя Дуся рассмеялась, потом сказала:
— Вот глянь-ка! Пойду-ка я по своей делянке.

И пошла в стоящий прямоком лен, ловко выкручи-
вая сведенными накрест руками пучки льна, оставляя
после себя пустую дорожку стерни. Через пару минут
у нее в руках оказался пушистый толстый снопик, кото-
рый она в мгновение завязала последним тонким пуч-
ком льна.

— Ну, как? Ясно, что ли?

— Да не очень... Как это вы?..

Колхозницы посмеялись, а потом занялись с каж-
дым отдельно. Сначала казалось, что этот прием очень
неудобен, но они настаивали на своем, и постепенно,
с большим трудом, мы начали осваивать их технику. Ра-
ботали внаклонку. Неловкие руки не слушались, пучки
получались неровные и рассыпáлись, солнце палило



Лев Разумовский. 1943 г.

вовсю. Не прошло и двух часов, как мы выдохлись, на-
чали распрямлять и тереть затекшие спины.

Наши учительницы за то же время легко и как бы
играючи сделали почти половину своей обширной
делянки.

— Тетя Дуся, — спросил я, показывая на довольно
длинную полосу стерни за моей спиной, — заработал
я трудодень?

— Эх, паря! На трудодень восемь соток надо сделать,
а ты и двух не одолел, и уже не смогаешь...

Ляля ЯКУЛЬС⁹

Вспоминаю интересную историю, связанную с подготов-
кой к Празднику Песни. Наш отряд разучивал старинную
русскую песню:

*Вдоль по Волге-реке снаряжен стружок.
Как на том стружке, на снаряженном
Удальцов-гребцов сорок два сидят.
Как один-то из них добрый молодец
Призадумался-пригорюнился.*

⁸ По-видимому, *нагáнник* — новое словообразование, от нагана, который носили за поясом.

⁹ Воспитанница старшей группы Детского дома № 55/61.

Ах, о чем же ты, добрый молодец,
Призадумался-пригорюнился?
Я задумался-пригорюнился
Об одной душе красной девице.
Эх, вы, братцы мои, вы, товарищи,
Сослужите мне службу верную:
Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утоплю я в ней грусть-тоску мою,
Лучше в море мне быть утопимому,
Чем на свете жить нелюбимому...

Мы увлеченно играли в лапту перед церковью. В этот момент пришла Ревекка Лазаревна¹⁰ и сказала, что хочет проверить, как мы выучили песню. А мы хотели играть, а не петь. Однако она настаивала на своем. Тогда Сашка Корнилов, подмигнув нам, запел:

Плыви ты наша лодочка блатная, да, да...

А мы дружно подхватили:

*Куда тебя теченьем понесет,
Воровская жисть такая, ха, ха,
От тюрьмы она далёко не уйдет!
Воровка не сделается прачкой, да, да,
Шпана не ударит урку в грудь!
Грязной тачкой рук не пачкай! Ха, ха!
Это дело перекурим как-нибудь!*

Мы проорали всю песню. Наступила тишина.

Мы ждали реакции — разноса, наказания. Ольга Александровна¹¹, наверное, отреагировала бы сразу: взорвалась, наорала, может быть, надавала пощечин. Интеллигентнейшая Ревекка Лазаревна сидела молча, не шевелясь. Как статуя. Потом встала, выпрямилась и изрекла:

— Еще Горький говорил: «В каждом человеке есть что-то скотское».

Повернулась и ушла.

Лев РАЗУМОВСКИЙ

Места вокруг Угор были красивые: леса, поля, переходящие в перелески, недалеко протекала Унжа — приток Волги. В радиусе пяти-десяти километров находились деревни Ступино, Поломы с самыми черничными и брусничными местами, Шулёво, большое село с заводом и школой-десятилеткой. Где-то подальше городок Макарьев, поселок Шарья, реки Межа и Нея. Частушка напоминала об этом:

Скоро в армию поеду
через Неюшку реку.
Вот вам, девушки, на память
ёлочка на бережку!

Мужиков в деревне почти не было. Молодые ушли на войну. Оставшиеся, старики и инвалиды, плотничали, работали коноводами, пахарями на колхозных полях или уходили на заработки в соседние районы — жгóнили: катали или валяли валенки и чёсанки¹². (Изготовление валенок было традиционным ремеслом в нашем Мантуровском районе.)

Молодежь — парни допризывного возраста и девушки всех возрастов — развлекались на гулянках. Гулянки обычно начинались вечерами, кончались к утру. Парни пили водку, горланили частушки и плясали с девочками под гармошку. Чем многолюднее случалась гулянка, чем больше играло на ней гармоней, тем она считалась лучше, богаче: Баская¹³ была гулянка — о пяти гармоник! Гулянки часто заканчивались пьяными драками или буйным озорством. Завалить изгородь, разломать в ней тычины, раскидать поленницу, поставленную на зиму, было обычной забавой разгулявшихся парней.

Зимой вместо гулянок традиционно проводились беседки. В один из зимних вечеров Лизка, дочь Флегонтовны, заявила Мирре, что в следующую субботу беседки будут в нашей избе, что мы для этого должны потесниться и не мешать.

Пришлось нам сдвигать наши кровати и пожитки в угол, после чего Колька вбил два гвоздя в стенки, натянул веревку и повесил занавес, отгородив нас от помещения, где должны были проходить беседки. Маму вся эта пертурбация сильно расстроила, а нам с Миррой было интересно, несмотря на то, что нам пришлось несколько часов сидеть в неудобных позах на своих узлах, взгроможденных на кровати.

Лизка *примыла* пол ровно до занавески, подвесила к потолку *лампу-молнию*, вынесла с Колькой стол и кадки с цветами, расставила по стенкам лавки, уселась с прялкой на одной из них и стала ждать гостей. Вскоре пришла первая ее подружка с прялкой, села на *ступицу* и на ней объехала все лавки, «чтобы беседки были хорошими». Потом начали приходить и рассаживаться по лавкам и другие девушки, каждая со своей прялкой. Парни ввалились вместе разногосой гурьбой, и в избе стало сразу шумно и весело. Заиграла гармоника. На середину избы выскочил парень в *куртушке*¹⁴ и кепке и пустился в пляс, дробно печатая пол кирзовыми сапогами, а напротив него вышла девушка, ожидая его частушку.

Парень:

¹⁰ Завуч Детского дома Детского дома № 55/61.

¹¹ Директор Детского дома № 55/61.

¹² Чёсанок — валенок более тонкой выделки для ношения вместе с галошами.

¹³ Баской — красивый, модный.

¹⁴ Куртушк — ум. — ласк. от «куртка».

Вспоминая войну

*Что ты, милка, зазнаешься,
али харя широка?
Я видал такую харю
на базаре у быка.*

Общий смех, в основном мужской. Отплясав свое, он встал в позу. А девчонка, махнув платочком и приняв вызов, стала выбивать чечетку и петь:

*Из Сибири ты приехал
и полпуда вшей привёз,
Батька думал, что овёс
и на мельницу увёз.*

Общий смех, преимущественно женский. Парень:

*Из тюремного окошка
посмотрю на Ленинград.
Все там девочки гуляют,
чем я, мальчик виноват?*

Девушка:

*Из тюремного окошка
посмотрю на Вологду.
Принеси, залетка, хлеба,
помираю с голоду.*

На смену первому парню выскочил второй, ударил шапкой об пол и продолжил тюремно-географическую тему:

*Из тюремного окошка
посмотрю на город Буй.
Принеси, залетка, хлеба...*

Допеть ему не дали дружно вскочившие девки. Они вытолкали хулигана на кухню и закрыли дверь. Это не помешало ему, однако, через пять минут вернуться и продолжить участие в общем веселье.

Один из ребят решил потешить девок по-своему. Раздобыв где-то книгу по искусству, он раскрыл ее на странице с фотографией скульптуры Аполлона Бельведерского и стал обходить весь круг, тыкая пальцем в книгу и произнося каждый раз:

— Глянь! Голый парень! А?

Девки хихикали, отворачивались от такой срамотищи, отпихивали его руками, а он невозмутимо продолжал свой обход.

— Искусствовед, — покачала головой Мирра.

Между тем беседки вступили в новую фазу. Между плясом и песнями кто-нибудь из парней приглашал выбранную им девчонку в *барабу*, и пара на некоторое время исчезала в темной кухне. Девчонка могла отказаться от барабы, и это считалась позором для парня — его по-

том осмеивали чуть ли не до следующих беседок. Таков был обычай.

На все это мы с Миррой смотрели из занавески во все глаза, а она что-то быстро записывала в дневнике.

Беседки закончились поздней ночью и продолжались на улице, превратившись в гулянку. А мы, распрямив затекшие руки-ноги, стали перетаскивать кровати на свои места и приводить комнату в прежний вид.

Частушки с гулянок быстро перелетели в детдом, прилипли и четко запечатлелись в памяти на всю жизнь:

*Мантуровская милиция
хорошая была:
По нагану отобрала,
по кинжалику дала.*

*Из нагана дали выстрел,
по реке пошел туман.
Что ты голову повесил,
наш веселый атаман?*

*Состряпай, маменька, селяночку¹⁵,
последний раз у вас я ем.
Скоро в армию забреют,
больше вам не надо ем.*

*Посмотри, родная мать,
как солнце закатается.
Не последний ли сынок
в армию собирается?*

Из дневника Мирры Разумовской

25 апреля. Завтра Пасха, и сегодня из двадцати пяти ребят в школу не явилось восемнадцать. Потому что грех — ведь завтра праздник. В городе, работая в школе, я никогда не замечала религиозных праздников. А тут прямо священнодействие. Все вымыли полы в избах, помылись в банях, почистились. Хозяйки необычно много варят. В семьях матери сегодня запрещают петь. Между прочим, вчера в Давыдово, когда женщины устроили *Богомолье*, председатель сельсовета и председатель колхоза разогнали молящихся. Считаю это позорным перегибом на местах.

Лев РАЗУМОВСКИЙ

Два эпизода вокруг церкви вроде бы не связанные между собой, однако, по странному стечению фактов и по размышлению над ними, возможно, и взаимопереплетенные.

¹⁵ Селяночка — омлет.

Церковь досталась нам в довольно приличном состоянии: крыша не текла, полы чистые, потолки и стены побелены, низ столбов и стен покрашен коричневой масляной краской. Как-то у меня возник вопрос: был ли на куполе крест? Старуха Мирониха, к которой меня отослали по причине того, что она хоть и старая, а все помнит, да и молится до сих пор, охотно рассказала:

— Крест-от был — как ему не быть? И ограда церковная металлическая была, и кладбище коло церкви было.

— А куда ж все девалось?

— Да к куда? Всё порастаскали. Решетки еще в двадцатом посымали да куда-то увезли. Столбы кирпичные народ на печи перетаскал. Кладбище тоже: много баских камней было, куда-то все перетаскали, вон два-три еще валяются в лопухах.

— А крест?

— А крест, паря, никто сымать не хотел. Боялись, Бог накажет. А начальство с району велело сымать. Потом уж коммунист один с Поломы, Васька Крутцов, снял. За деньги.

— Как за деньги? — ахаю я.

— А так. Опосля пил на эти деньги кой-то срок. Я хвостить не стану...

Надо сказать, что я этой бабке не поверил. Не мог коммунист за деньги сделать такую работу, это не укладывалось в моей патриотически настроенной голове...

Прошел, может быть, месяц после этого разговора. Однажды, сидя на могильном камне, я рисовал двух деревенских мальчишек. Один был в кепке, другой

в зимней шапке, несмотря на летнее время. Они охотно позировали, и я сделал довольно живой набросок в маленьком альбомчике. Когда они ушли, я, собирая свои рисовальные принадлежности, машинально отогнул лопух... и замер.

Первые же слова, которые удалось прочитать на черном, когда-то полированном, а теперь разбитом и заросшем мхом граните, захватили, заколдовали, затащили в иной, волшебный мир, ничего общего не имеющий с бытовой суетой нашей нынешней жизни:

*Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.*

Часть надписи была утрачена, но и оставшиеся могучие, весомые, емкие слова поразили меня глубиной мысли, величиим образов и масштабом понятий... Вечность. Судьба. Народы. Царства... И фатальная Неизбежность...

Только спустя сорок лет, я узнал, что у этих строк есть автор — Гаврила Романович Державин, и, взяв в библиотеке томик стихов поэта, полностью восстановил текст.

Veronika ILYUSHKINA The chronicle of an uneasy summer

Вероника ИЛЮШКИНА Хроника тревожного лета

Известие о начале войны с Германией застало семью композитора и музыковеда В.М. Богданова-Березовского в Детском (Царском) Селе, куда Валериан

The article is focused on a prominent figure in musical life of the mid-20th-century Leningrad, the composer and musicologist Valerian Bogdanov-Berezovsky. The text of the article presents fragments of diary notes made by the composer and his wife in war-time Leningrad during the first summer months of the Great Patriotic War.

Key words: Valerian Bogdanov-Berezovsky, the Great Patriotic War, musical life, chronicle, personal files, manuscripts, textual criticism.

Статья посвящена жизни композитора и музыковеда В.М. Богданова-Березовского в военном Ленинграде. В работе приводятся фрагменты дневниковых записей композитора и его супруги, относящиеся к первым летним месяцам Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: В.М. Богданов-Березовский, Великая Отечественная война, музыкальная жизнь, хроника, личный архив, рукописи, текстология.

Михайлович по примеру друга, композитора Гавриила Попова, перебрался из Ленинграда в 1931 году и где жил с 1933 по 1941 год с супругой, Анной Агафонов-